

Одиссея старого казака. Часть 2. Жизнь невольная

14 февраля 2017 / Томский Обзор



АВТОР

Катерина Кайгородова

Мы продолжаем рассказ Алексея Харитоновича Нестеренко, начатый в [прошлом году](#).

Во время войны он попал в плен, отсидел в немецких лагерях, был освобожден союзниками, и в конце войны отправлен в Советский Союз. Но Родина встретила его неприветливо.

Следствие длиной в год



— Нас, около тысячи бывших военнопленных, под конвоем провели через всю Одессу. А потом без суда и следствия отправили в Башкирию на нефтяные промыслы. С осени 1945 года до весны 1946-го мы жили в лагере на станции Алкино. Работа у нас была такая: месили глину, делали саманные кирпичи, и по три километра носили их на себе до места, где строили дома для офицеров.

Кормили ужас, как плохо. А вечером перед сном, в 10 или 11 часов, выводили всех на поверку и заставляли петь гимн Советского Союза. Два человека из НКВД следили: кто поет, а кто только губами шевелит. Мне не раз предупреждение делали: ты не хочешь петь гимн? Тебе все не нравится? Конечно, не нравится — безобразие такое!

Весной 1946 года меня привезли к реке Белой, и там под конвоем двух сотрудников НКВД переправили на лодке на другой берег, в Уфу. Если бы я знал, что дадут десять лет, я бы точно перевернул лодку — и сам погиб бы, и эти НКВДшники.

В Уфе сразу повезли в тюрьму. Там обыскали, обрезали пуговицы, вытащили шнурки из ботинок, чтобы я не убежал или не сделал что-то с собой, и поместили в камеру. Меня надо было к политическим, а посадили с ворьем, бандитами. А эти воры были уже связаны со следователями, они тоже начали учить меня «родину любить»...

В общем, меня там здорово побили — три дня лежал около параша. А когда немножко очухался, следователь вызвал меня на допрос. «Зачем, — говорит, — его в эту камеру поместили? Его в другую надо было». Будто бы не знал...

Так началось следствие, которое продолжалось почти год. В новой камере нас было три человека. Стульев нет. Кровати днем подвешивали к стенке — ни присядешь, ни приляжешь. Соседи все были политические или военнопленные, как я. Один дедушка из местных, ему часто приносили передачи. Он нас нет-нет, и медом угостит. А вообще менялись соседи часто, особенно политические.

В камере спать не давали ни днем ни ночью. Раз в неделю вызовут на допрос — следователь задаст несколько вопросов, потом ему приносят чай, он сидит, закусывает. Какими-то своими делами занимается, может, письма от своей барышни читает. А я, сидя на стуле, дремать начинаю. Если следователь это заметит, нажимает кнопку на столе, приходят два мордатых верзилы и, ни слова не говоря, начинают меня метелить. Следователь не бьет, а только мораль читает: «Ты что, спать сюда пришел?» Потом уведут в камеру и опять целую неделю не вызывают.

Я уже мечтал, чтобы меня быстрее осудили. Да и следователь все обещал: «Дадут тебе три года, отправят на работу, деньги получать будешь, продукты хорошие покупать, и еще домой высылать». Я верил... Тогда, за границей, тоже поверил ведь их словам — что нас простили, что войны без пленных не бывает...
«Выпускайте! Пойдем на работу!»



В конце октября 1946 года был суд. Зачитали приговор: 10 лет дальних лагерей, еще пять лет ссылки.

Хорошо их помню, прокуроров этих. Три такие «будки» выхоленные, все в орденах.

Перевели меня в общую тюрьму. Есть в Уфе старинная тюрьма, построенная еще при Екатерине, в форме буквы «Е». Камеры были переполнены людьми: и ворье, и политические — все вместе. Меня втолкнули туда, и я просто упал людям на головы. Целую неделю находился в этой камере. Кормили так — принесут баланду, окошко открывают, и каждый по очереди берет свою порцию. Командовал там вор в законе. В другой раз не так на него посмотришь, он тебя оттолкнет, и ты лишаешься пайки. Я уж думал: «Скорей бы на этап».

Потом меня и еще несколько человек из этой камеры вывели под конвоем, погрузили в «столыпинский» вагон, полный заключенных. С боку на бок можно было только всем вместе повернуться, настолько тесно там было! Кормили ржавой селедкой. Съешь и ее — лишь бы желудок не вхолостую работал. Потом дадут по кружке воды, а после нее еще сильнее пить хочется. Возле меня лежал узбек, здоровый такой. Вот он сожрет все, выпьет, а потом орет: «Начальник, давай вода!» До того он надоел — и нам, и начальству! В общем, однажды на станции вывели его и больше не приводили. Зато у нас немного посвободнее стало.

Из городов, которые мы проезжали, запомнился только Челябинск. Там нас первый раз за целый месяц вывели на прогулку.

Потом довезли до станции Вожаёль в Республике Коми, и под конвоем пешком повели в лагерь. Уже был снег, мороз, а я был одет еще в рабочую форму, которую выдали на нефтяном промысле: старые брюки, пиджачок и легкая шапка. На ногах — не портянки, а тряпки. Рядом с нашей колонной ехали две подводы. Потому что многие не выдерживали, падали, и их грузили на санки, лишь бы количество человек сошлось — сколько вышло и сколько в лагерь доставлено.

Привезли нас в лагерь, завели в столовую. Передо мной поставили чашку с баландой, я начал с жадностью хлебать. Вдруг кто-то сзади подошел и похлопал по плечу. Только я на секунду обернулся — а чашки нету. Потом пришло время хлеб получать — 300 граммов на весь день. Хлеб принесли на всю бригаду из 30 человек — в деревянном ящике без верха, типа подноса. И тут свет выключается, к раздающему кто-то подходит и бьет под дых, хлеб падает на пол. Кто в курсе дела, тот знает, что можно поживиться: хватают, жрут. А я опять без пайки остался.

Утром надо выходить на работу. Тут думаю: «Я ж баланду не ел, хлеб не получил. Какой из меня работник?» Ну, и залез под нары, спрятался. Но ворье же все ходы-выходы в казарме знает. Вытащили меня за ноги, как шкодливого котенка, и к начальству. А оттуда — в изолятор, и не меня одного, много таких было.

Изолятор холодный, окна разбитые, сквозняки. А в ноябре морозы уже крепкие на севере, на Печоре этой. Мы давай в двери стучать и кричать: «Выпускайте! Пойдем на работу!» Нас на работу и отправили.

Лесоповал и «политические»



Определили меня в лесоповальную бригаду, лес пилить. Ну, хоть у костра посидели, кое-как отогрелись. А после работы — опять в казарму, на нары, на матрасы, набитые стружками да опилками...

По утрам приезжала бричка собирать по всей зоне мертвецов. Довозит до проходной, а там охрана берет железный штырь и пробует: если живой человек, он закричит. А если не кричит — вывозят за территорию лагеря. Все это я видел, все это прошел.

Поначалу кое-как выжил. А потом приспособился. Нашел палку, сделал метелочку и начал утром, до развода, а иногда и вечером казарму подметать. Больше старался подметать возле нар воров и «придурков» («Так грубо называли туземцы тех, что сумел не разделить общей обречённой участи: или же ушёл с общих или не попал на них». — А.И. Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг»). Это были заключенные грамотные, с небольшими сроками. Главное — они посылки получали. Я помню одного миллионера, дали ему 10 лет. Так ему каждый день посылки приносили: там и печенье, и консервы. На что ему баланда эта? Он ее может мне отдать запросто. Так я и приспособился.

Потом начал ходить со своей метелкой в хлеборезку, подметать там. В хлеборезке работал вор Серёжка. Он несколько раз меня дубасил, но я продолжал туда ходить; думаю, все равно он мне хоть кусок хлеба даст. В конце концов, Серёжка спросил: «Ты, я вижу, настырный и грамотный. Сможешь резать хлеб на пайки и взвешивать?» Я говорю: «Конечно, смогу!» А чего не смогу, когда есть нечего. И вот, он меня взял в хлеборезку. Хлеба разрешил есть, сколько влезет. Но резать и взвешивать надо было тщательно, без довесков. Каждый грамм на счету.

Когда я только пришел в хлеборезку, при росте 170 см весил 43 килограмма. Меня от работы отстранили как инвалида. А тут за месяц поправился на 30 килограммов! На очередной комиссии, а они каждый месяц проходили, начальник на меня посмотрел и говорит: «Не раздевайся. И так вижу, что хватит тебе бездельничать» (ну, он не так, конечно, выразился...). И отправили меня обратно на лесоповал.

Сначала поставили топором сучки рубить. Потом — раскрыжовщиком, лучковой пилой ствол на части пилить. Тяжело, но пайку заработать надо. Так и работал. Даже звеньевым назначили.

Основную массу заключенных составляли «политические» и мелкие воришки. Кто в магазин залез, кто мешок картошки где-то у соседа украл — а срока большие давали. Бывает срок — 10 лет! Спросишь, за что? А он и сам не знает... Одним словом, всех подряд собирали, чтобы было кому работать, восстанавливать разруху послевоенную. Но верховодили в лагере воры. Они и должности все занимали, и порядок устанавливали. Я начал немножко общаться с ворами. Был с ними на «ты», но все равно считался, как они говорили, «мужик».

Был у меня в звене один вор, Паша звали. Ему всего год до конца срока оставался. Он всё мне твердил о том, как на волю выйдет, в Воронеж уедет, жену с сыном увидит...

Паше как вору работать было нельзя, по их понятиям. Я и не заставлял. Он мне в другом пригождался. Когда вывозили бревна на верхний склад, там в учетчиках тоже одно ворье сидело. Они с каждой телеги кубометра два леса недосчитывали. А Паша договорился с ними так, чтобы в моем звене кубатуру считали точно. И нам легче было норму выполнять.

И вот, однажды пришел из Москвы этап, а там был вор в законе. У нас-то в лагере были «сучьи» воры, а этот — законный («суки» — воры, сотрудничавшие с лагерной администрацией. «Воры в законе» отказывались иметь любые отношения с государством. Подробнее о «сучьей войне» у [В.Шаламова](#): — прим.ред.). Этому вора им надо было или переманить на свою сторону, или «убрать». А он не соглашался «сукой» стать. Как у них такие вопросы решались? Воры собираются в круг, делают жребий, кидают в шапку, и кому он достанется — тому суждено «убрать» московского. Жребий выпал Паше.

На другой день он мне говорит: «Алешка, я сегодня не иду на работу. Дело у меня есть важное». Одним словом, он припрятался в бараке, и как только московский вор появился, зарезал его заточкой. Добавили ему к сроку еще 10 лет. Так и не уехал он в свой Воронеж, а вернулся в мою бригаду. Вот такие дела были.

Любовь и бухгалтерия



Когда в 1953 году Сталин помер, никто еще ничего не знал, а воры уже знали. И вот, нас выгнали на утреннюю поверку. Смотрю, охраны на воротах много стало. Обычно 10-15 человек, а тут целый взвод, да еще с оружием. Думаю, в чем же дело?

Раз — выскакивает один вор в законе и кричит: «Мужики, на работу сегодня не идем, Сталин подох!»
Заклученные моментально разбежались, кто куда. Далеко, конечно, не ушли. Охрана сразу начала стрельбу из автоматов, чтобы на испуг взять. Ну, и начали порядки наводить. Когда Берию расстреляли, ворье начали переводить в отдельные казармы. Большое дело сделали, а то же они покоя не давали «мужикам», «фраерам».

Еще заключенным за работу начали деньги начислять. То мы бесплатно работали, за баланду и кусок хлеба, а тут стали получать в месяц аж 100 рублей.

Кассиршей у нас стала Люба, жена начальника лагеря. И вот с ней у меня такая любовь приключилась. Мне было в то время уже около 30 лет, а она чуть постарше.

Первый раз я Любу увидел, когда она заходила в зону при охране, и сошлись мы с ней глазами. Она на меня вот такие глаза вытаращила, а я — на нее. Запомнилось мне это.

Потом прихожу за получкой, она спрашивает: «У вас деньги не отбирают?» Я говорю: «Если среди воров знакомых нет, или не дашь наперед им взятку, то могут забрать». «Тогда, — говорит, — постой пока в сторонке. Когда все разойдутся, я тебе выплачу». Я так и сделал: дождался, пока все уйдут, получил деньги и сунул в карман. Прихожу в барак, развернул, а там вместо ста — 120 рублей.

На следующий месяц опять пошел в кассу, стою в общей очереди. А она мне говорит: «Заходи через бухгалтерию». Там тоже заключенные сидели: счетоводы, бухгалтеры. Каждый взглядом провожает, думает: как же так? Ну, я зашел к ней, поздоровался, и говорю: «Вы мне лишние деньги дали». Она делает удивленный вид: «Не может быть!» Я сказал, что лишнего мне не надо, и положил на стол 20 рублей. Вот так мы с ней познакомились.

Встречались, конечно, только раз в месяц, в бухгалтерии. Только словечком и удавалось перекинуться. Однажды она мне сказала: «Знаешь, Алеша, я тебе костюм хороший купила. В назначенное время я тебя вызову домой работать, переодену — и мы уедем отсюда, нас никто не поймает». А мне сроку оставался всего год. И я испугался, сказал ей, что на это не пойду. Все равно бы поймали, потому что везде НКВД.

А потом дошло дело до кума (начальник лагеря или сотрудник оперативной части — прим.ред.), что мы с ней подолгу разговариваем, и меня отправили на штрафную зону в командировку.

Она в последний раз туда приезжала. Всем деньги выплатила, потом меня отдельно вызвала. Может быть, она рассчитывала на что-то женское? А я с девчонками даже и разговаривать не умел... Да и побоялся, как бы

хуже не было. Она, видно, что недовольна была, но отпустила. Я вернулся в барак, ребята начали смеяться: «Ну как, Алешка, были шуры-муры?» Я говорю: «И не спрашивайте». На этом вся любовь моя кончилась. В конце концов, подошел к концу долгий срок. В Ставрополь меня не пустили, чтобы смуту среди казаков не сеял. А родители у меня к тому времени переехали в Киргизию, и я поехал к ним. Так началась моя вольная жизнь.



Продолжение следует.